

Одесские новости. Одесса, 1904. 4 июля. № 6354. С. 3.

На разные темы.

О Чеховѣ.

Умеръ. Смерть покосила его...

Еще молодое тѣло его состарилось въ борьбѣ съ упрямымъ недугомъ, ослабѣло раньше времени и умерло. И вмѣстѣ съ тѣломъ угасъ духъ.

Грустный, страдающій, скорбящій о мірѣ духъ... Онъ заставлялъ насъ беззвучно плакать и съ робкой надеждой смотрѣть вдаль, на высокія вершины, которыя золотятся въ лучѣ солнца и тянутся къ свѣтлѣ неба. Тамъ должно быть чище, лучше, привольнѣе; тамъ горный воздухъ, не отравленный ложью и злобой, прозрачный источникъ, у котораго можно играть и наслаждаться.

Точно разыгранъ послѣдній актъ чеховскихъ комедій, этихъ удивительныхъ комедій, неполненныхъ глубочайшаго трагизма. Опустился занавѣсъ, и не стало автора, который провелъ передъ нами картину нашей жизни въ цѣляхъ и духовномъ рабствѣ, жизни, которая извивается и негромко стоитъ въ густой сѣти недомыслия, похоти, несознающей себя, и невольной жестокости. Не стало автора, и осталось настроеніе, осталось знакомое намъ изъ „Скучной исторіи“, „Дяди Вани“, „Вишневаго сада“ состояніе грусти по безвозвратно утерянному, по алмазу дорогому и разбитому. Навсегда разбитому. Въ этомъ незабываемость раны, въ этомъ глубина охватывающей насъ скорби.

И „Вишневый садъ“ былъ проданъ навсегда; а ерзавшіеся съ нимъ люди, уживавшіеся его бѣлымъ, весеннимъ цвѣтомъ и теплымъ, вѣжливомъ запахомъ, были поражены въ самое сердце, которое продолжало биться и жалостно рыдать.

Въ чемъ вина этихъ людей? Жизнь жестока. Въ колесо ея насажены острые, ржавые спицы; и рвутъ эти спицы, рѣжутъ все безпощадно, расчищая дорогу будущему, быть можетъ, лучшему, даже навѣрно лучшему. Вѣдь недаромъ-же Трофимовъ, покидая старый домъ, восклицаетъ: „здравствуй, новая жизнь!“ Но все же... зачѣмъ страданія Раневской, Гаева? Они неспособлены, слабы, безпомощны; имъ не повернуться отъ грозившей спицы; вотъ она опустилась на нихъ, оставивъ узенькій кровавый слѣдъ; и мы чувствуемъ, какъ вонзается холодное желѣзо въ живое человеческое тѣло, да, чувствуемъ, какъ медленно и вѣрно оно выпивается и травитъ. „Мой милый, мой вѣрный садъ! Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай! Прощай!“ шепчетъ Любовь Андреевна, и мы готовы вмѣстѣ съ ней шоптаться тѣ же слова.

Эти слова—чужія намъ, какъ чужая и та жизнь, которая произноситъ въ нихъ свою послѣднюю молитву. Но разительный стиль Чехова, его тонкій, благородный именно—благородный, рѣзецъ сдѣлалъ чужія слова близкими намъ; онъ далъ намъ почувствовать до дна огромное море скорби, вокругъ разлитой, сжимающей одинаково сердца и правыхъ, и виноватыхъ. И жесткое, надменное слово, обыкновенно бросаемое въ догонку пережившей самое себя, уходящей съ исорченной арены жизни, не сорвалось съ нашихъ устъ: къ привѣту новому, идущему на смѣну, примѣшалась жалость по разбитымъ радостямъ, по погибшей мечтѣ, жалость къ людямъ, которые этими радостями и этой мечтой жили.

Жалость и скорбь—вотъ двѣ основныхъ линіи чеховскаго творчества, которыя мы не сразу разглядѣли и не сразу оцѣнили. Великія эти чувства. И пытаются они великимъ источникомъ, никогда не иссякающимъ и не теряющимся при самыхъ печальныхъ условіяхъ жизни. Источникъ этотъ—любовь къ людямъ, стремленіе къ добру, къ вершинамъ, на которой воздвигнуть идеалъ счастливой человеческой жизни.

На этой вершинѣ пребывалъ гений Чехова, когда открывалъ намъ, съ необычайной художественной правдивостью, тяжелую драму жизни...

Чужой.